

Источник: Шугаев В. М. Неистовый : [воспоминания] / В. Шугаев // Переживания читающего человека / В. Шугаев. – Москва, 1988. – С. 175-179.

## НЕИСТОВЫЙ

Нас познакомили в 1965-м, зимой. Тендряков, порасспрашивав об Иркутске, сказал: «Собираюсь к вам, в Сибирь. Интересно посмотреть». С вежливым невниманием я пробормотал: «Конечно, ради бога, милости просим», но не поверил его словам: многие собираются в Сибирь, да немногие приезжают.

Но он приехал, в том же году, в теплый, дождливый июньский день, когда и положено, по народной примете, приезжать хорошим людям.

Мы улетели в Братск. Там было ветрено, солнечно и просторно. Помню, мы долго поднимались по сумрачным, гулким переходам на гребень Братской ГЭС. Поднялись и чуть не ослепли от зеленого блеска моря, чуть не задохнулись от влажного, свежего верховика. Наша провожатая, инженер Наташа Синицина, с некоторой торжественностью объявила:

«Мы находимся на 407-й отметке над уровнем Великого океана».

Посидели на теплом, забытом плотниками брусе, покурили, потом вбили подвернувшийся гвоздь «сороковку» в сосновую доску — оставили, так сказать, свой гвоздь.

Тендряков был весел, ласков и часто повто-

рял: «Прекрасно! Ах, как прекрасно!» — и медленно, запоминая, оглядывался. Вечером мы почему-то решили подняться еще на одну высоту: на крышу недостроенной метеообсерватории. Преодолев кучи битого кирпича, песка, обломков штукатурки, побалансировав по каким-то жиденьким досточкам, завершили это причудливое восхождение на плоской асфальтовой площадке, обнесенной железными поручнями. Невидимо плескалось Братское море, в его черной мгле как-то печально и желто помаргивал огонек плавучей метеостанции, обдавая нас теплыми волнами запахов: цветущего шиповника, влажной травы, дальнего рыбацкого костра. Тендряков снова, со счастливыми вздохами, повторял: «Прекрасно! Ах, как прекрасно!» — должно быть, размягчившись, разнежившись душой от необъятных сибирских пространств.

В ту пору я и понятия не имел о его крутом, неукротимом, порой нестерпимом нраве. Не был еще свидетелем его беспощадных, прямо-таки яростных споров, когда он холодно белеет лбом, когда напрягшиеся губы спокойно выговаривают хлещущие слова и презрительно вздрагивает заносчивый, суворовский хохолок (если уж быть точным: почти суворовский, который, к сожалению, невозвратно поредел). Когда он может среди мирной, тихой беседы вдруг вспыхнуть, вскочить, заметаться от приступа гнева.

Но в то лето он был мягок и ровен. И в Братске, и позже, в Улан-Удэ, где посреди ослепительной жары оведал нас добрый бурятский дух, олицетворенный в Цыден-Жапе Жимбиеве, однокашнике Тендрякова по литинституту. Наверное, душевное равновесие Владимиру Федоровичу сохранило сибирское хлебосольство и почти полное освобождение от литературных разговоров.

Через год или два — не помню, — но тоже летом я приехал к Тендрякову в Красную Пахру. Походили под дачными соснами, по дачным тропинкам, он был поначалу отсутствующе рассеян и как-то возбужденно-сонлив — только-только встал из-за рабочего стола. Но потихоньку разошелся, разговорился, наконец вовсе воспрянул. остано-

вился под сосной и, часто, коротко тыча в мою сторону мундштуком, воскликнул:

— Что в сочинительстве главное?! Главное: довести до невозможного! Доведешь, и тогда Раскольников обязательно убьет старуху, а Анна обязательно бросится под поезд. Доведи, доведи до невозможного! И тогда я тебе поверю.

Должно быть, это «доведи до невозможного» следует понимать как густой, почти неразбавленный настой, концентрат поступков, драматическое или трагедийное столкновение которых кончается мощным психологическим взрывом — после него рассеиваются и оседают в наших сердцах боль и сострадание к изломанным, исковерканным судьбам; появляется необходимость задуматься и над своей жизнью в муках этой боли, этого сострадания.

Вообще, все написанное Тендряковым представляется мне именно взрывом, переиначившим некоторые наши этические представления. Да и не только этические. Его дар «довести до невозможного» самую заурядную житейскую ситуацию приобщает нас то к страстному, прямо-таки пламенному протесту против равнодушия («Ухабы». Кстати, меня до сих пор восхищает безукоризненно выверенная композиция этой повести), то к мучительным раздумьям над судьбой доброй, работающей Насти, погрязшей во лжи («Поденка — век короткий»), то к безжалостному суду над леденящим душу жизнепродвижением Ивана Степановича («Кончина»). Короче говоря, все написанное Тендряковым или, вернее, почти все не позволяло и не позволяет дремать нашей совести.

Опрометчиво, конечно, думать, что «довести до невозможного» — единственно приемлемая творческая позиция в литературе. Есть иные, более плавные, более пластичные, что ли, способы изображения, тоже ведущие к художественному успеху. Но тот пыл, та страсть, с которыми Тендряков отстаивает свою «веру», могут служить, на мой взгляд, воодушевляющим примером.

Бывая в Красной Пахре, я всегда с безотчетным интересом рассматривал тендряковский

письменный стол. Удивительное сооружение со всяческими встроенными полочками, ящичками, шкафчиками, оно так необъятно, что за него можно посадить добрую писательскую организацию.

Так вот этот стол всегда завален книгами о новейших теориях в физике, астрономии, генетике. Утверждать не берусь, но, кажется, не только научно-популярными. В простоте душевной я недоумевал: и зачем он только голову забивает? — но недоумевал молча.

Тендряков несколько раз пытался приохотить меня к чтению подобных книг и, разжигая интерес, с большим подъемом пересказывал содержание той или другой. Я внимательно, даже напряженно слушал, стараясь понять эти головокружительные теории, но почему-то постепенно голос его становился далеким и невнятным, а перед глазами возникали фантастические переплетения фантастических приборов, в которых пульсировала, клокотала передовая мысль, — и не потрогать ее, не увидеть, — во всяком случае мне.

Однажды Тендряков пробовал втолковать мне некоторые сведения о «черных дырах» и утечке материи (прошу покорно всех физиков и сведущих лириков извинить меня за ненаучность терминологии). И мне вдруг стало страшно. Во-первых, страшно представлять себя утекающим куда-то в тартарары, во-вторых, стало страшно за ученых: как им-то не страшно заглядывать в эти бездны? Я признался Тендрякову в своем страхе и предложил поговорить о чем-нибудь сугубо земном, например о чеховской «Даме с собачкой». Тендряков расхохотался и больше уже никогда при мне не тратил время на научное просветительство.

Но вот читаю «Весенние перевертыши», элегически-прозрачную прозу, несколько непривычную для Тендрякова. Впрочем, почему непривычную? Ведь принцип «довести до невозможного» торжествует и в ней: непримиримое столкновение Дюшки и Саньки Ерахи, кровопролитный поединок поэзии и тупой силы — он неизбежен, потому что Тендряков довел до невозможности их совместное существование. И вот читаю: «Пуста улица, нет гра-

чей. Улица та же, но и не та — изменилась. Вот-вот... Кажется, он нащупывает след того невидимого, неслышимого, что заполняет улицу, крадется мимо.

Хлопнула где-то дверь, кто-то из людей вышел из своего дома. Скоро появится много прохожих. И улица снова изменится. Скоро, пройдет немного времени...

И Дюшка задохнулся — он понял! Он открыл! Сам того не понимая, он назвал в мыслях то невидимое, крадущееся мимо. «Пройдет немного времени...»

Время! Оно крадется.

Дюшка его увидел! Пусть не само, пусть его следы».

Прочитав эти строки о зримом, движущемся времени в начале повести, я почему-то подумал: может быть, стоило осилить всю бездну специальных книг только для того, чтобы так написать о времени?

Однажды я допоздна засиделся у Тендрякова, и он пошел провожать меня до автобусной остановки. Подмерзшие, синие, уже ноздреватые сугробы источали влажно-морозный, горчивший оживающим тальником запах. Нет-нет да соскальзывали с еловых ветвей рыхло-звонкие ошметки снега. Было звездно и тихо. Тендряков опять вздыхал: «Прекрасно! Ах, как прекрасно!» — поддаваясь движениям размякшей, разнежившейся души. Я подумал, что, пожалуй, именно в такие вот минуты и аккумуляруется в ней, отвердевает художественное бесстрашие, которым Тендряков был наделен в высокой и завидной степени.